Недошивин, В. Пароль поручика Куприна : [о писателе А. И. Куприне] / В. Недошивин. – Текст : непосредственный // Литературная газета. – 2004. – 7-13 апр. – С. 12.

Пароль поручика Куприна

Ослепительно белый гроб с телом писателя везли шесть белых лошадей... Весело, словно ничего не случилось, звенели трамваи, грохотали вслед на автобусах ленинградские мальчишки, а табунки машин замирали у перекрёстков. Всё было символично. Во-первых, хоронили поручика белой армии, блестящего наездника, который на пари мог подняться на лошади на второй этаж ресторана, выпить, не покидая седла, полстакана коньяка и тем же манером вернуться на землю. Во-вторых, последний путь его – от дворца на Неве (там была панихида) до Волкова кладбища – просто не мог миновать Разъезжую улицу у Пяти углов, где он не только закончил свою повесть «Поединок», но стал известным всему миру классиком. А в-третьих, между бельми дрогами с его телом и белой колесницей с венками, составленными исключительно из белых цветов, стали в чёрной «эмке» две жены его – первая страсть и последняя нежность! – две самые дорогие женщины, с которыми он, представьте, почти в один день познакомился как раз на Разъезжей. В доме, который и ныне легко найти (Петербург, Разъезжая, 7)...

–Кадет Куприн, выйти из строя!.. – Стриженый двенадцатилетний подросток (синие погоны, красные петлицы, восемь пуговиц в ряд из мундирчике) обречённо делает два шага вперёд. – Кадет Куприн, позволивший себе возмутительно грубый поступок по отношению к дежурному воспитателю, приговаривается к телесному наказанию в десять ударов розгами...

Бедный, бедный кадет, он знал: его ждёт скамейка, покрытая простыней, дядька Балдей, пречудий за спиной розги, и затылый запах солдатских штанов, когда другой дядька сидит ему на голову, чтобы не вырывался... Запомнит это унижение, опишет в автобиографической повести «На переломе». «Кадет Булавин испытал всё, что чувствует приговорённый к смертной казни. Так же его вели, и он не помышлял о бегстве, так же рассчитывал на чудо и думал, что вот сто человек остались счастливыми, прежним мальчиками, а я один, один буду казнён...»

Он и будет казнён. Казнён детством, юностью, предательством, нищетой в Париже, дважды казнён родной страной, казнён всей жизнью своей, которая заставила его, тонкого и отзывчивого, как мембрана, казаться, по выражению одного критика, «ну просто сверепым»...

Здесь, в Москве, в знаменитом Вдовьем доме, на углу Садовой и Баррикадной (Москва, Садовая-Кудринская, 1/2), поселилась, потеряв мужа, его молодая ещё мать, урождённая татарская княжна Кулунчакова. Что княжна – историки не подтверждают, она была из ветви, которая не смогла «выхлупить» княжество, а вот что «кулунчак» по-русски «жеребец» – это точно! Не отсюда ли любовь Куприна к лошадям, клятва, что кони любят больше, чем человека, не потому ли младенцем он, говорят, слушался только кучера? С четырёх лет он, единственный выживший из братьев, жил с матерью здесь, среди старух. Выжил, кстати, потому что мать взяла старца, который посоветовал приготовить дубовую досточку и, когда родится младенец, заказать художнику – точно по мерке новорождённого – образ святого Александра Невского. А ещё обязательно назвать сына в честь Невского – Александром.

Здесь, в сводчатых палатах Вдовьего дома, запомнит зелёные стены, горы подушек на кроватях, казённые шкафчики, вечное визжение и вечные запахи: травы почудни, мастики, воска и цветного запаха опрятной старости. Где-то здесь его непреклонная мать, уходя по делам, привязывала сына тоненькой ниткой за ногу к кровати, и он, сверяя непоседливость, как щёнок, ждал её. Прикидывала, ибо он, раздвигая мир вокруг себя и себя в этом мире, мог и пруд перепрыть, чтобы без билета попасть в Зоосад (это в двух шагах от Вдовьего дома), и под пролёту попасть, когда, испытывая характер, пробовал вспрыгнуть в неё на ходу. Увы, скоро он будет рвать не нитки, сдерживающие натуру его, а ремни и канаты, людские связи и дружеские поводки, любовные узы и даже семейные ошейники. Но именно в этом доме узнает и, главное, привыкнет, что и некрасив, и бедн.

«Моя мать, – писал он. – Она была причиной, что вся моя душа загажена. Скитанья по чужим домам, ключевые, мелкие обиды, угодливость, подлые уменьшительные слова: кусочек, капелька, чашечка чайку. Мать уверена, что я не люблю лакомого, потому что знала, от этого хозяйским детям останется больше и хозяевам будет приятно. И, чтобы рассмешить благодетелей, приставляла к носу свой трёпаный кожаный портсигар, перегнув его одной, и говорила: «А вот нос моего сыночка... Я... проклинаю свою мать...»

Это из рассказа «Река жизни». Первая жена Куприна, Мария Карловна Давыдова, услышав его, расплачется от обиды за его мать, скажет, что та узнает себя хотя бы по портсигару. Он будет упорствовать: «Я обязан написать об этом...» Но когда сам начнёт читать рассказ матери, слова эти: «Я проклинаю», опустит. Это, кстати, и не было правдой: причиной всех его несчастий была тупая, свинцовая, подлая жизнь. А матери нежный в душе Саша с первого гонорара в 9 рублей купит за 8 подарок – кожаные ботинки и только рубль потратит на коня – на скачки в манеже. Да, конесть у него была «казённая». Сиротская школа (Москва, ул. Казакова, 18), где за бредни его, что он-де генерал Скобелев, сам Наполеон, на него надевут остроконечный колпак с жирно выведенной надписью «Лгун», потом «кадетка» (Москва, 1-й Краснокурсантский пр., 3–5), потом училище конкеров (Москва, угол Знаменки и Гоголевского бульвара), где сидел в карцере и за Дуняшу, крестьянскую девушку (за всё уважал вместо занятий по топографии), и за первый напечатанный рассказ – «бумагомарание». Фаталист Куприн случай не отрицал никогда. И разве первая публикация не стала счастливым случаем? Просто однажды встретил некоего Пальмина, старичка, в прошлом сотрудника курочкинской «Искры». «Напишите свежинький рассказ, – предложил он юнкеру, – и принесите мне на Площадку... Я вам первую ступеньку с удовольствием подставлю»... Так и случилось – рассказ «Последний дебют» действительно напечатают. Именно за него он получит в два дня карцера, и тот первый гонорар в 9 рублей. Потом станет писать рассказы, как признается Бунину, «на бегу, на лету, посвистывая», ровно так, как влюбился в каждую хорошенькую партнёршу по вальсу. Ещё вчера он, юнкер, мчался на тройке на бал в женский институт, объяснялся в любви на чистопрудном катке и тайно хранил подобранный в театре платок какой-то незнакомки, а сегодня – офицер 46-го Днепровского пехотного полка не только прыгает со второго этажа, когда какая-то гарнизонная дама пообещала за это поцелуй, но и ради ещё одной любви, забросив стихи и прозу, пытается поступить в Академию Генштаба. Поступил бы – экзамены сдал блестяще! – если бы по дороге в Петербург не встретил в Киеве друзей по кадетскому корпусу и, загуляв, не сбросил то ли с парома, то ли с ресторанчика-поплавка полицейского пристава. По одной версии, за то, что тот не уступал им, офицерам, заказанного столика, по другой, более романтичной, за наглое приставание к какой-то девице. Опять случай, скажете? Да. И опять счастливый. Ибо, стань он полотным генералом, мы бы никогда не узнали генерала, нет – маршала от литературы Александра Куприна...

«Среди равных побеждает тот, кто уверен в своей победе», – повторял он. А проигрывает – кто «потеряет сердце». «Потеря сердца... Её знают акробаты, всадники, борцы, бретёры и великие артисты. Эта болезнь постигает свою жертву без предупреждений»...

Так вот Куприн «потерял сердце», кажется, однажды, когда вместе с Иваном Буниным впервые пришел на Разъезжую. Остановились в тот раз в Петербурге в «Пале-Рояле» (Петербург, Пушкинская ул., 20), самой богемной гостинице столицы. «175 меблированных комнат от 1 до 10 рублей в сутки, включая постельное белье, – сообщали о ней бережеры. – Электрическое освещение бесплатно. Иностранцам просим не верить»... Здание этой гостиницы жило и поныне. Здесь снимали номера и Чехов, и Шаляпин. «Он жил в Пале, он пел в Рояле», – остроил про этот отель поэт Минский... И отсюда Бунин в ноябрьский вечер 1901 года повёл своего провинциального друга Куприна (правда, автора уже «Олеси» и «Молоха») в редакцию журнала «Мир Божий», которая располагалась рядом, на Разъезжей, в доме 7.

Куприн шёл неоглядчиво, он успел уже поработать репортёром, землемером, псаломщиком, актёром, кузнецом, столяром, предсказателем в Полесье, учился на зубного протезиста и учил в училище слепых, разводил «мазорку-серебрянку» на Волыни и пытался постричься в монахи. А людей узнавал, представьте, по запаху, принюхиваясь к ним. Многие, вторгая потом Машин-Сибиряк, в особенности дамы, обижались. Да, «потянет носом, – вспоминала и Тэффи, – и конец – знает, что это за человек». Юнкера у Куприна пахли сургучом и мышатиной, девушки – арбузами и почками тополиными. Что говорить: с Буниным даже соревновался – какой запах у кожтёла во время заутрени или у арены в цирке? Недаром тот заметит: «Сколько в нем было этого звериного! Чего стоило одно обоняние?» Но неоглядчивый, смелый Куприн не знал, чем пахнет «потеря» собственного сердца, раскалённая страсть...

На Разъезжей, где была и редакция, и квартира издательницы, друзья узнали, что хозяйка журнала Александра Аркадьевна Давыдова, вдова директора Петербургской консерватории, больна и что приют их ей дочь Муся, двадцатилетняя курсистка-бестужевка, черноглазая, остроумная Мария Карловна. «Муся была подвижна, – вспоминала Аркадия Тыркова-Вильямс. – Её младенцем принесли к дверям Давыдовых... Очень хорошенькая... Её портил смех, недобрый, немолодой. Точно она говорила: «Какие вы все дураки и до чего вы мне надоели...» Росла среди знаменитостей, и, конечно, Куприн в полосатом костюме и жёлтом галстуке с синими цветочками не только смешался, но едва не спрятался за спину друга. «Разрешите представить вам жениха. Талантливый беллетрист, недурён собой, – балагурил бывавший здесь Бунин. – Александр Иванович, повернись к свету!.. Ну... Как вам? У нас товар, у нас купец...» «Нам ничего, – поддерживала шутку Маша. – Мы что. Как мамонька прикажут...»

Но на другой день (не странно ли?) обоих принимали здесь уже иначе: стол с крахмальными салфетками, хрусталь, дорогие вина. Теперь обедали с хозяйкой. А двум горничным помогала прислуживать крупная девушка с лебединой шеей, которую звали просто Лизой и к которой относились как «к нелюбимой сестре». Эх, эх, Куприн, уже влюблённый в Машу по уши, не увидел её и уж, конечно, не знал, что через шесть лет после женитьбы на Маше его второй женой станет как раз она – Лиза Гейнрих, сестра жены Мамина-Сибиряка, отданная Давыдовым на воспитание. Маша была ярче, Лиза скромней, та светски-колка, эта – простодушна. Маша знала, как глядеться доброй, Лиза же была сама доброта. Это ведь Лиза через 37 лет у могилы Куприна, когда они останутся вдвоем, выдохнет одну всего фразу: «Маша, из меня вынули жизнь...» Это будет. Пока же Куприн, стихийный, эмоциональный (он любил говорить, что даже «спичку нельзя зажечь равнодушно»), был смятен, стреножен одной Машей. И когда его друг на охоте, любуясь рассветом, напомнит ему, что «миром движет красота!», Куприн крикнет: «О, нет! Миром движет любовь!..» «Любовь, – напишет тогда же, – самое яркое и полнее воспоминание моего «я». Не в силе, не в уме, не в таланте, не в творчестве выражается индивидуальность! Но в любви! Вся бесчисленная бутафория только и служит, что опорником любви...»

Словом, через три месяца – небывалый тогда срок – Маша станет его женой. Аркадия Тыркова, правда, скажет в те дни: «Зинаида, мама хочется, чтобы я вышла за Куприна». «А вам-то самой хочется? – спросит та и добавит: – Не выходите зря. Не надо. Он в вас по-настоящему влюблён». Маша засмеется: «Знаете, что мама сказала? Выходи. У нас будет ребеночек. А потом, если Куприн надоест, можно его сплавить, а ребеночек останется»...

Нет, Маша любила его, но, уж если задаваться вопросом, что есть любовь, то не ошибемся, сказав: любила как будущего великого писателя. Непредставимо, но, когда «Поединок», который он начнёт писать в Разъезжей, станет буксовать у него, Маша, его страсть, его любовь, пошлет ему на дверь: «Поединок»! А до той поры я для тебя не жена!..» Куприн не порвёт поводков, нет. Покорно снимет комнатку на Казанской улице, даже осудит себя: «с влюблёнными мужьями иначе нельзя», и – фантастика! – напишет очередную главу, будет спешить с ней на Разъезжую, где на чёрной лестнице (чтобы не встретиться с Машиными знакомыми), просунув руку-нить сквозь прикрытую на цепочку дверь, будет ждать, чтобы его впустили в очередной раз. Однажды, когда он, чтобы увидеть Машу, подсунул уже читанную ей раньше главу, дверь для него не откроется вовсе. Так-то вот! И он, сорви-голова, крутой характер, сядет на ступени и, как в «кадетке» когда-то, горько, по-детски заплачет... Казнён вдрызг казнён любовью...

Вторично, столетие, минувшее с тех пор, позволяет сказать объективно – он не был идеальным мужем. Это ведь про него ходили стишки, пущенные из «Вены» – писательского ресторанчика на углу Гороховой и Морской: «Если истина в вине, Сколько истин в Куприне!..» Это ведь он в той же «Вене» (Петербург, М. Морская, 13) выставил за дверь, вызвав на дуэль, некоего Райляна и, всегда властвует не тот, который любит больше, а тот, который любит меньше: странный и злой парадокс!..»

Он любил Машу больше, чем она его. А его больше любила Лиза. Та Лиза Гейнрих, которую он тоже встретил на Разъезжей. Куприн, надо сказать, видел её иногда то в доме у Мамина-Сибиряка (Петербург, Верейская ул., 3), то в гостях у народника Михайловского (Петербург, Саперная ул., 5). Он, правда, не догадывался ещё, что судьбы его и Лизы – его Сюзанны, его Ми Ли – уже были в чем-то похожи. Оба «последыши» в своих семьях, оба имели души, отзывавшиеся, как мембраны, на чужое горе, и, наконец, оба с детства, не терпя обид, рвали, случалось, самые крепкие вожжи. В жилах Лизы текла венгерская кровь, отец её из старинного знатного рода, Мориц Готлиб-Гейнрих, участвовал в восстании мадьяр, и за поимку его была назначена награда. Ничего этого Куприн не знал и, более того, когда через два года забежал к Мамину-Сибиряку, то вообще не узнал Лизу, так она похорошела. Ему открыла дверь стройная девушка в форме сестры милосердия. «На фронт едет, на войну с Японией, – сказал ему Мамин и вновь добавил: – Смотри не влюбись». «Достанется же кому-то такое счастье», – только и нашёлся Куприн. Стороной до него доходило потом, что Лиза добралась до Мукдена, пережила какое-то крушение поезда в прогулом туннеле, работала в полевом госпитале и даже, говорили, награждена медалями. Но сдержанно писателя другое: то, что Лиза едва не покончила с собой. Знаете, из-за чего? Из-за того, что человек, которого она встретила на фронте, врач, с которым даже, кажется, обручилась, на её глазах избил до полусмерти какого-то солдата. Вот что он стрелял. Как он поехал её тогда! Ведь он и сам только что написал в «Поединке», как радового Хлебникова смертельно избивает самодур-фельдфебель: «Молчаливый, обезумевший от побоев солдат – всё представлялось ему мучительным сновидением, которые, должно быть, будут сниться людям в самые последние дни мира. Пролив тёплого, бесконечного сострадания окватлего...»

Со-страдание – совместное страдание! Золото душ, пароль, по которому узнают друг друга истинно любящие. Ну как же, Лизе и Куприну, таким одиноким, было не сойтись?.. Лиза, вернувшись с фронта, Куприных в городе не застала. Но, забежав на Разъезжую, увидев, что дочь их, Лиза, оставленная на няньку, лежит в дифтерите, уже не отошла от её кроватки. Спасала девочку. Муся, «обрадовавшись привязанности дочери к Лизе», предложила ей поехать с ними в Даниловское, в имение друга Куприна – Батюшкова, знатока западной литературы, внучатого племянника знаменитого поэта. Там, в Даниловском, в парке, у пруда (оба вспоминали, что в пруду, при свете молний) писатель объяснился со своей Сюзанной. «Я, – процитировал он, – больше всего на свете, больше себя, семьи, своих писаний люблю Вас...»

– Что вы, что вы!.. – испугалась Лиза и, не дослушав, убежала.

А рано утром, никому не сказав ни слова, уехала. Через десятилетия дочь Лизы и Куприна, Ксения, скажет, что первым чувством её матери была паника. Разрушить семью, лишить Лиду отца – это казалось ей немыслимым. В тайне даже от близких Лиза устроится в какой-то госпиталь на окраине Петербурга, в отделение заразных больных. И там, только через полгода с трудом, по просьбе Куприна и отыщет её Батюшков. Заранее знал, что Лиза никуда и ни за что не пойдет (истинная доброта – это ведь на деле кремень), и потому приготовил одно слово: «Спасайте!..» Спасите Куприна от пьянства, от сброда, который его окружал, от скандалов в семье и издателей, которые пользовались его слабостями, от фактически казни, которую на глазах у всего города он демонстративно чинил над собой. «Спасите» – этот призыв Лиза только и понимала...

Через несколько дней, 19 марта 1907 года, Лиза и Куприн выехали за границу. Она везла его в Гельсингфорс лечиться – это было единственным её условием. А через 11 лет их «медовый» Гельсингфорс станет первой точкой долгой эмиграции Куприных, последней ниткой, пуповиной, связывавшей их с Россией, которую на этот раз они разорвут вместе. На чужбине найдут много прежних друзей: Бунина – с ним станут сначала жить на одной площадке парижского дома (Париж, ул. Жака Оффенбаха, д. 1), а потом не только разведутся – разойдутся – Сашу Черного (с ним, напротив, подружатся), Зайцева, Тэффи, Шмелева, художника Болибина. Их дом и там будет полон гостей, но Лиза – лебединое крыло – именно там, в эмиграции, по словам дочери, и перестанет улыбаться...

Иллюстрация художника Д. Дубинского к повести А.И. Куприна «Поединок»

«Знаете ли вы, что гранильщики драгоценных камней держат перед собой изумруд? – напишет Куприн в одном из парижских писем. – Когда глаза их устают, то им дают отдыхать на изумруде». Так вот таким изумрудом стала для Куприна, рискнём сказать, как раз улыбка его Лизы.

Ах, сколько у всё было счастья в России! Нет, Куприн не стал другим, но Лиза с ним почти всегда улыбалась. Улыбалась, когда он разыгрывал юную невесту дочери, предлагая в зимнем ей нарядную Шаляпина, а дуэ-девица, не зная певца, испугалась, твердила уверено, что дядька бритый, а она-де хочет «с усами»... Улыбалась, когда он в Монте-Карло, выиграв несколько пригоршней золотых, на другое утро, прячась за портьерой номера в отеле, бросал вниз, на аллею парка, монету за монетой и наблюдал, как богатые обитатели гостиницы ворохато подымают их, «сказа кляне»... Да разве можно было не смеяться, если Куприн, играя в домашнем спектакле какого-то любовника, так пылко обнял свою партнёршу (в миру профессоршу), так страстно поцеловал её, что она не только забыла роль и всё порывалась убежать из его объятий, но, как усмехнулась Лиза из зала, тихо, не по тексту застонала: «Дайте атмосферу! Мне не хватает атмосферы!..»

И уж, конечно, она не могла не улыбаться днём и ночью, видя, как он, сочиняя «Суламифь» (писал её под впечатлением любви к ней), выскакивал на двор охлаждаться и, как ребёнок, горстями глотал снег. Чего в этом было больше: творческого угара или реального любовного пыла – неведомо. Одно читается откровенно: «Суламифь» – сплошное объяснение в любви. «Верь мне, – пишет в рассказе Куприн. – Тысячи раз может любить человек, но только один раз любит. Тысячи людей думают, что любят, но только двум из них посылает Бог любовь»...

Он молодел с ней. Давно ли, жив с Машей, он, «король слова», вывел на стопоминце своей, где расписывались именитые гости, броский афоризм: «Мужчина в брюке подобен муке, сенной на ливную бумагу; и сладко, и скучно, и улететь нельзя». Теперь же, в Одессе, натурально летает. Уговаривает Уточкина взять его в полёт на воздушном шаре и поднимается на 1200 метров. Потом с Иваном Заяицким взлетает в небо на аэроплане. Он же у брошюры Хлебной гавани под наблюдением Дюжева, водолаза, дважды опускается на дно, причём второй раз специально позвал её, Лизу. В Киеве организует атлетическое общество. В 43 года идёт учиться стильному плаванию у чемпиона мира Розанкова. Зачем? Да затем, что, как в детстве, он, монстр, не мог не раздвигать мир в себя в нём. Всё хотел в жизни испытать, проверить лично: на зуб, на мускул, в нерв. «Есть двоякого рода мудрость, – точно сказал о нём друг Батюшков. – Одна легко черпается из книг, другую с трудом берут у жизни». Вот Куприн и брал её – книги трудом, а когда с отмычкой лёгкостью, как барьер в конном манеже юности. Брал, добавим, чтобы переплавить мудрость эту в рассказы и повести, романы и пьесы. Пишите, дескать, черпайте, читайте!.. И сбывается того, что сделала с ним родина, оболгав его в 1918-м и 1937-м.

...Когда после долгого перерыва заиграли колокола, Куприн удивился – это известно, но, не изменив привычек, достал самодельный трёхцветный флаг и повёл вывешивать его в саду. Мальчишка в 6 лет, он в дни красной, а затем и белой мясорубки вывешивал этот – свой флаг. Был аполитичен, и хотя Горький хотел сделать из него «глашатая революции», даже шутовской флаг вешал не для издёвки над красными и белыми властями, а чтобы дать знак друзьям-соседям, что ждёт их на очередную партию в преферанс. Это было в Гатчине, где ещё до Первой мировой Куприн купил «зелёный домик» с лиловыми занавесками, кстати, специально в честь жены – на Елизаветинской улице (Гатчина, ул. Достоевского, 19-а). А красным и белым предлагал только то, что умел, – делать газету. С идеей гаснуть до крестьянства ездил даже к Ленину в Кремль, но тот, как всегда у большевиков, «обещал переговорить с товарищами», а потом эти «товарищи» (имена известны: Каменев и Демьян Бедный), поморщившись, предложили ему «подписывать» в журнал «Красный пахарь». Отказался, конечно. Его потом как раз красные арестуют, увезут в Гатчину на три дня, а оцепенелой от страха Лизе какой-то шутник на её звонок в трибунал рявкнет в трубку: «Куприн?! Расстрелян к чертовой матери...» Имя шутника, впрочем, тоже известно – комендант Крандиевич. Но шутка другое, когда в Гатчину вступил Юденич, когда грянули впервые колокола, Куприну сказали, что у прежних он был одним из первых «в числе кандидатов в положники и для показательных расстрелов». И расстрелян бы. Ведь в Гатчине шуровал и «странный Шотов», который поставил к стенке заложницу с грудным ребенком, и Серов, председатель ЧК, положивший полсотни больших офицеров, докончивши их из револьвера, в Осиповский, в доме которого найдут подвал, забрызганный кровью до потолка. Наивный Куприн, он ещё вообразил, что в местном зоопарке большевики перестреляли горы зубров – «барская-де забава»?.. Да, аполитичным он был, но равнодушным – никогда. Потому и достал из-под подушки пистолет системы Мервинта и купил в лавке старьёвщика в четвёртый раз за жизнь поручичьи, без звёзд, погоны. После отставки он надевал их для службы в Осоавиахиме (мечтал тогда ещё повесить «дело»), затем – в Земоргс, потом – в авиационной школе. Теперь добровольно (насильно ничего нельзя было заставить) надел их, чтобы сделать всего за сутки, представьте, газету армии. Сделал, разумеется. А к полной Лиза пообещала сшить ему «добровольческий угол» из рукав. Не известно, увы, успела ли? Известно другое – Куприн уйдет из «зелёного домика», но запрет, никогда оставив дверь открытой...

«Видели ли вы, как лошадь подымают на пароходе конце парового крана? Лишённая земли, она вплыла в воздухе, бессильная, сразу потерявшая всю красоту, со сведёнными ногами, с опущенной тонкой головой... Это – я»...

Можно долго рассказывать о жизни Куприна в Париже, а можно прочесть эти слова про лошадь, повисшую над землей, и всё понять. «Дела мои – бамбук», – писал другу из Парижа. В другом письме сообщал: «Девку у меня – ни клаву», и добавил: «вино здесь пахнет мокрой собакой». Про Лизу написал, что ей приходится «столько бегать, хлопотать и разрываться на части, что не хватило бы и лошадиной силы». Смешно, с чем сравнивал с любимыми лошадьми. Переговоры, долги, купля штопка чулок дочери, заклады и выкупы, поиски квартир, поиски лекарств, попытка открыть перелицовку мастерскую, потом, после разорения, – книжного магазина, тоже поднявшего почти сразу, вот, она не тащили-прикрывала окружающих, словно крылья, защищала, ограждала их. Ведь это же Куприну – ей лично пишет письмо Марина Цветаева: «Сердечное спасибо за добрую волю к земным делам человека, которого Вы совсем не знаете, а именно – за неблагодарное дело продажи билетов на вечер стихов. Я знаю, что на до стихов, ни до поэтов никому нет дела... Тем ценнее участие в сочувствие». А когда Куприн не смог создать заказанный сценарий Мелодушным сценарий для кино (он был так плох уже, что порой не мог улицу перейти), Лиза, отважная душа, услышав, что сценарий о библейской Рахили, о вечно ждущей и всепрощающей любви до смерти, сказала, что напишет его сама. И написала бы, если бы муж и дочь не вынуждали её, не ходили бы на цыпочках и не прикладывали бы пальцы к губам: «Тсс, мама пишет!» «Мы так её изнели, – смеялась дочь, – что она однажды расплакалась и сожгла рукопись»...

Больше Елизавета Морицевна не плакала, упоминаний об этом нет. Мы даже не знаем, плакала ли она всё каждым утром 1942-го перед самоубийством на углу Лесного и Кантемировской, где Куприным дали квартиру по возвращении из Франции (Петербург, Лесной пр., 61, корп. 3). А поводы для слёз были. Скажем, он, почти слепой, вдруг в Париже стал забывать слова. «Недавно забыл слово «лебедь» в басне Крылова, – жаловался ей. – А ведь лебедь не вздор, а чудесная птица». Не разрыдалась, хотя её он и сравнивал когда-то с лебедью. Не плакала, когда ему поставили смертный диагноз, когда звали его в СССР, а он не понимал, куда они едут, не плакала, но и не улыбнулась на розу, когда на Белорусском вокзале фотовспышки к нему кинулся Фадеев, позначив кричащий про Куприна, что он «не наш», а вчера с той же верой в белесых глазах, что, напротив, «наш, конечно, наш...» «Дорогой Александр Иванович! – торжественно начал Фадеев. – Поздравляю вас с возвращением на Родину!» Куприн, пишут, глянул на него сквозь теплые очки и с каменным лицом отчётливо сказал: «А вы кто такой?..» Обожженный гонкой Союза писателей, единственный из перронов знавший, что уже полтора года, с 1936-го, возвращением Куприна в СССР занимаются лично Сталин и Ежов, подобной обиды не стерпел и, развернувшись, двинулся к машине. Так и остались неясным: Куприн в бреду не узнал Фадеева или издевался над сладким режиссёр? Наконец, не плакала Лиза и когда Куприн умирал у неё на руках. «Сашенька плохо, – телеграфировала в Москву Мордвиной, той самой Мурс, давно ставшей женой видного коммуниста. – Немедленно выезжай!..»

Когда-то в молодости фаталист Куприн сказал, что, умирая, хотел бы, чтобы любящая рука держала его руку до конца. Лиза и держала, пока рука не отнялась. «Не оставляй меня, – шептал он в полузабытье. – Люблю смотреть на тебя... Мне страшно...» Это были его последние слова...

«Любовь – крылатое чувство, – читала она его слова и знала – эти строки про неё. – У любви за плечами два белоснежных, длинных лебединых крыла. Я чувствовал в ней духовное превосходство надо мною и мою земную тяжесть».

...Лебеди не живут друг без друга. И когда один из них умирает, второй поднимается высоко-высоко в небо и, сложив крылья, камнем устремляется к земле, чтобы разбиться. В Ленинграде зимой 1942 года эта земля для неё была как никогда ослепительна от истоптанного жилищем снега. Почти так же ослепительны, как те белые цветы на его могиле.

Вячеслав НЕДОШИВИН